

ДЯДЯ СЕВЕР

рассказ



Дмитрий ЛАГУТИН

г. Брянск

Два раза в год к нам приезжал брат отца — дядя Игорь. Он работал где-то далеко на севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него были густая чёрная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вёл знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями. Мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная — три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого не выказывала.

— Никак не повзрослеет, — говорила она.

Мы удивлялись её словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, — не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, набивал табакотом резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

— Дядь, дядь, расскажи про север, — обступали мы его.

Дядя ерошил волосы, — на висках они уже начинали седеть, — пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

— Про север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на пе-

рильцах. Невместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «как-то раз».

— Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

— Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

— Как-то раз сообщили нам, что с гор идёт лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночёвка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих своё место.

Небо над нашими головами густело, занимались звезды. Дядя дымил трубкой и басил из-за своей бороды.

Север — чудный, далёкий — казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там своё особое государство, живущее по своим особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра; дым от его трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а её огонек — угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь — угрюмая и загадочная.

— Ты для них не дядя Игорь, — шутил отец, — а дядя Север.

Дядя улыбался; север жил в нём, и временами казалось, что с нами он был лишь телом — душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днём был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился — принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном запирался в комнате, читал.

Во взгляде его накапливалась тоска: подойдёт к окну, постоит, вздохнёт и отходит.

— Хватит страдать, — говорил тогда отец и усаживал брата за стол, — смотреть тошно.

Дядя улыбался смущённо, принимал весёлый вид, но через какое-то время глаза его снова подёргивались мутной пеленой; он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия; он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поездки по городу.

— Эх, — говорил он, — жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колот.

Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клёна настоящий дом — добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером. Первое время мы из него не вылезали — сидели там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шёл к клёну, становился внизу и, задрав голову, басил:

— Кто-кто в теремочке живёт?

Мы, сдерживая смех, молчали.

— Ну, значит, я, — говорил дядя.

Закатав рукава, ловко подтягивался — и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

— А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка — одно смотрело на запад, другое — на восток. Дядя показывал на западное:

— Ишь как полыхает.

И мы замороженно смотрели на закат.

— А ну-ка, — спросит, — какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? — и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

— Т-тёплые.

— Прекрасно, — подбодрит дядя. — А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне — бах, бах! Искры кругом, жарыща, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, кото-

рый гвозди в узлы вяжет и подковы гнёт не морщась.

— ...Алет ему уже под шестой десяток, — подводит дядя итог. — Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца — огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах: север — край богатырей. Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скрёб бороду, спрашивал нас о чём-нибудь — не любил он тишины. Из окошка лилось всё меньше света, клён обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искося — ему было неловко за то, что он вот так, как ребенок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал её в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшеклассники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянью, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке, слепленные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клён, будто с извинениями разводивший в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

— Никаких шалашей, — оборвал с ходу отец, — или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом: для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился всё более чужим, начал тосковать уже не через неделю, не на следующий день, но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там! Я думаю, грусть заволакивала дядино сердце ещё до отъезда оттуда, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И всё же он приезжал. Настойчиво, через силу он тянул себя к нам: к отцу, ко мне, к матери, к нашему клену и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его пожелтели, лицо покрылось морщинами, но он был по-прежнему красив и силен — и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильёй, каким я видел его в мечтах о севере.

А мечтали мы все — каждый мальчишка. Грели суровыми зимами, бездонным небом, нестихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде — он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьёзно и как будто с горечью:

— Куда нам!..

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату — маленькую, светлую, с окошком в сад — и садился за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с чёрными как уголь локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках — за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

«Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет — хоть плачь. И каждый день пьёт. Но мужик — во какой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тощую лису и местного мальчонку — этот чудом не обмёрз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обогрелась, отъелась да и осталась при нас — не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции — не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем — про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

Ото всех тебе приветы, а я пошёл, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори всё-таки назвать Антоном.

Антон».

И дата — месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо —

пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками — адреса, телефоны.

Ближе к окну, на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загипнотизирован: сидел и смотрел, такая она расчудесная — ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет — тень, свет — тень.

Я садился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далёких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза: «И скажи всем, чтобы не трогали мое ружье».

Я очень боялся, что кто-нибудь в моё отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на север и живут там в сторожке — сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату «паломников». Мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда — берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдёт отец, зажжёт абжур, устроится поудобнее — и читает. Но читает не дядино — что-то своё.

А я грезил севером. Мне снились необозримые пёстрые дали, северное сияние, усталые великаны — горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и шурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чашу, а в самом центре севера — на белоснежном плато, окаймлённом вековыми соснами, под шатром из зеленых сполохов, под пристальными взглядами тысяч звёзд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя полз-

ла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике, спокойный и уверенный, сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто быть там — населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, благородными мыслями. Все снега севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их и пересказал нам.

И закат — то самое солнце, которое обегало день за днем всю землю, подолгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей в домике на дереве. Зато, когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам, — ещё раз увидеть то, о чём только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку — отец и дядя, совсем ещё дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом. Дядя — большеголовый, худенький, с огромными удивлёнными глазами — жмётся к руке старшего брата и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Отправился в дальнюю комнату и долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка, навряд ли можно было сказать, что на фото братья, настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты — на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи — отец вернулся с работы. Я юркнул к себе и спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нашупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал её, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца — где-то далеко за решительностью, за вызовом — я увидел настороженность, напряжённость. Ещё глубже едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в

потускневшее изображение, я как в воду погрузился в дядин взгляд — слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью — мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далёкое, удивительное — и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец богатырь смотрел на меня из далёкого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд говорил, а я — в меру своего понимания — внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку — махровую от пыли, с истрёпанным уголком.

— Гляди-ка! — присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскрёб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе: вероятно, он забыл о фотографии, как только выпустил её из рук; а мать сказала, что не брала.

— Возьми другую, их там море, — добавила она.

Но другой такой не было, и я долго ещё горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про север, и мое внимание, как и внимание всех окрестных мальчишек, обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу — хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку, — со стра-

ниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещрённая порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка, в ней угадывались две фигурки с вёслами.

Когда в очередной приезд дяди мы показали ему в книге ту реку, он махнул рукой и сказал:

— Это пустяк, а не река. Бывают и посерьёзнее, — потом пошелестел страницами, посмотрел на обложку. — А что это у вас за трофей? — спросил он. — Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

— Хоро-ошая книга, — протянул дядя, рассматривая иллюстрации. — Только, — ткнул он пальцем в текст, — сухая, ненастоящая, — вздохнул. — Север, братцы, это вам не циферки, не справочки... Это... — он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

— А вы на собаках катались? — спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно:

— Без собак, брат, никуда, — сделал паузу и добавил: — А лодки, бывает, запрягаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на севере — инженером на станции. Но не прижился — не смог. Куда ему!..

Я годами хранил в себе чудесную мечту — когда-нибудь да переехать туда. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я всё ждал, что дядя позовёт меня к себе — взрослея, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И всё, никакого результата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная работа — и я отвернулся от севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, — не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и — не так давно — в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм, на бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно; подошёл к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды, отошёл, ссутулившись.

Перед отъездом — теперь я провожал его на поезд — мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер, и казалось, что вот-вот пойдёт дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше — он стремительно старел. Говорил он, а я смотрел ему в глаза — теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, неопределимого, что так влекло меня в той фотографии.

— ...Так-то, брат, — закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице — здоровье не позволяло продолжать работу на севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей — далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрязнул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, крепко обнял, едва не сломав мне рёбра, а потом проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате громко тикали часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил про себя, как много в нём стало стариковского, и загрустил.

— А я тут сию как сыч, — заявил он. — Тоска смертная.

Засвистел чайник, дядя вывалил в плоскую горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто,

извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул в комнату. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе — ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам! Это было то самое утерянное мною сокровище: два мальчика смотрят в объектив, один — с вызовом, другой — испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое: наш дом, клён, отец, невероятные истории, север.

Чудесный далёкий север!

— Дядя, — сказал я, вернувшись в кухню, — откуда у вас та фотография, что на столе стоит? Где вы с отцом.

Старик провёл широкой ладонью по бороде.

— Серёжа подарил, — сказал он.

Я не сразу понял, о каком Серёже речь. Никто, кроме матери, отца так не звал, да и от неё такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не признался?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлечённо, словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобраться, где повседневное, а где — оно, таинственное? Всё слилось, смешалось. В одно и то же время я видел далёкую неуловимую загадку и простые переживания одинокого старика.

В конце концов, дядя принялся говорить о севере. И не было отца, чтобы вошёл и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы — очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой. И я понял, что он не может или не желает высказать всего, что скопилось в душе, — понял, что ему тесно здесь, что он тоскует по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

— Дядя, — перебил я его. — А переезжайте к нам. Сын уже учится — живёт в общежитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя молчал. Глаза его блуждали по стенам кухни.

— Дров вам навезём, — пошутил я, — колоть будете.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.

— Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задёрнул занавески, зажёл лампу.

Я рассказал о том, каким представлял себе север, о волках, выюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в один момент задумался и притих. Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил:

— Зачем вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что вам было неуютно у нас. Зачем же было всё это?

Дядя потёр переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом, пожал плечами и ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, стояла глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил мне в комнате с фотографией, сам ушёл в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жёстком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел чёрное небо и точки звёзд. Растревоженные воспоминания не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стенкой раздался какой-то шум — как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дёрнул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго — мне казалось, целую вечность, — сидел и смотрел на фото. О чём я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, всё вспоминал, может быть, просто смотрел, может, пытался разгадать-таки дядин взгляд. И ещё мне кажется, что я искал это в глазах отца. Нашёл ли?

Когда чёрная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет, рухнул на диванчик и уснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, — все мы ютимся в тесном вагончике

посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встаёт передо мной. А где-то далеко слышится звон — «бо-ом, бо-ом!» Это кузнец бьёт по своей наковальне. Хоть бы дядя пошёл на звук и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но ещё долю секунды слышал угасающее эхо далёкого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.

Перед уходом я напомнил о своём предложении. Дядя пожал мне руку и сказал, что оно весьма заманчиво и он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память или хотя бы на время ту карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.

— Да-да, конечно, — пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок и, крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

— Простите меня, — сипло произнёс я. — Простите. Пусть... останется у вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд — тот самый, взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю ещё раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окуроч, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашёл в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне и сообщал, что возвращается на север.

«Здоровье... А что с него толку, коли сижу в этой коробке и тоска заедает? Не могу больше, не выдержу».

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.

Кроме него, в конверте ничего не было.



рассказ

Когда-то давно, в детстве, я услышал эту мелодию — услышал походя, краем, что называется, уха. Мелодия заблудилась во мне.

Мы шли через парк с родителями. Отец что-то рассказывал, мать смеялась. Направо одна за другой уплывали лавочки — ни одной свободной. Не помню, искали мы место при-

сесть или просто гуляли. Если уж на то пошло, то отец всегда предпочитал ходьбу стоянию на месте — не говорю уже о том, чтобы сесть.

Слева парк расступался, впуская в себя ровный круг сквера, а на том его конце, прямо напротив нас, выростала несуразная асимметричная сцена. На ней восседали люди с инструментами, целый оркестр, перед ними на асфальте стояли ряды стульев. Почти все пустовали, но это ничего. Оркестр играл для меня.

Левой рукой я сжимал отцовскую ладонь, а в правой покоился стеклянный шарик — моё сокровище. Он был большой, тёмно-зеленый с переливами, в глубине его как будто застыли волны или дым, или сон, а в самом центре — два сверкающих пузырька. В одном месте шарик был потёртый, в другом серел небольшой скол, но если закрыть на это глаза, то лучше шарика я в жизни не видел.

Я нашёл его, точнее не нашёл, а обнаружил, а ещё точнее — откопал, когда меняли забор и из земли вытаскивали поочередно толстые металлические трубы, служившие опорой. Их вытаскивали, чтобы переварить или что-то в этом роде и потом вернуть на место, потому что новый забор был не деревянный, а железный, и его уже следовало бы звать не забором, по старинке, а, например, оградой. После каждой трубы в земле оставалась настоящая дыра, в которую можно было засунуть руку чуть ли не по плечо. Это было идеальным тайником, если, конечно, вы согласны спрятать что-то навсегда, ну, или, во всяком случае, надолго. Кто знает, когда эти трубы выкопают вновь?

Мне казалась очень привлекательной идея спрятать что-то надолго — да хоть бы и навсегда. Я перерыл все свои игрушки, долго рассматривал каждую и в итоге остановил выбор на крохотном, сплетённом из бисера жучке, которого я, к слову, тоже нашёл в детском саду, в пустом шкафчике, на дверце которого красовался тигрёнок с содранным хвостом. А жучок был оранжевый и очень ловко сделан. Видно, его сплёл способный человек. Ну, раз кто-то умеет плести таких изящных жучков, думаю, не расстроится, потеряв одного из них, — или не потеряв, а забыв в старом шкафчике, который больше не нужен, так как этот кто-то вырос и больше не ходит в детский сад. Я так думаю.

В общем, я расцеловал жучка, положил его в коробок из-под спичек и торжественно понёс прятать в одну из дырок. Трубы должны были вернуть на место в самом скором времени.

Без забора палисадник выглядел каким-то растерянным, а тут ещё эти дырки. Я прошёл мимо первой, второй, третьей и остановился у четвёртой. Раньше в этом месте к забору и, значит, к трубе вплотную прижимался куст сирени. Теперь, когда ни забора, ни трубы на месте не было, куст почти завалился, точно пьяный. Знаете, когда вы не совсем трезвы и опираетесь на плечо друга и вдруг из-под вашей руки кто-то выдёргивает его — и вы почти падаете. Вот и куст как-то накренился, будто шатался. Помню, что тогда как раз цвела сирень, и я постановил себе на обратном пути сорвать пару веток в кухню. Это потому, что в кухне всегда должны стоять цветы — хотя бы летом. Но, конечно же, я забыл о сирени, потому что нашёл шарик.

А нашёл-обнаружил я его очень просто. Подлез под накренившийся куст, уселся прямо на землю и, закатав рукав, запустил руку в дырку. Рука ушла, как уже говорил, почти по самое плечо. Сперва я просто положил коробок на дно, но потом достал и решил ещё немного прокопать вниз, чтобы труба ненароком не раздавила запрятанное. Я вынул коробок, положил его на траву, снова запустил руку в дырку и принялся скрести пальцами. Вот тогда и нащупал что-то твёрдое.

Сперва здорово испугался и даже отдёргнул руку: мне показалось, что в попытке спрятать маленького искусственного жука я наткнулся на большого и настоящего. Но потом снова протянул ладонь вглубь, чтобы на ощупь определить, что там такое. Шарик легко поддался, вынырнул из земли, спустя мгновение я уже обтирал его о штанину, а спустя ещё одно — смотрел сквозь него на свет — благо, день был солнечный.

Ко мне подошёл Руслан по прозвищу Канарейка. Он постоянно слонялся по улице туда-сюда и за всеми наблюдал, отец у него пил, а мать жила отдельно, у сестры. Канарейка, к слову, — это фамилия, а не прозвище, но я об этом узнал только позже. Так вот Руслан подошёл и спросил, что это такое я нашёл. Сунув

шарик в карман, я сказал: «Ничего», — и спросил, как его кот: они недавно подобрали кота на улице. Руслан ответил, что это оказался не кот, а кошка, и скоро она окотится, и он пойдёт стоять на рынке — отдавать котят, и позвал меня с собой. Я согласился и сказал, что сейчас мне надо бежать, вот прямо бежать — так я сейчас занят.

И после этих моих слов мы ещё с минуту молча смотрели друг на друга: он, видимо, ждал, что я встану и побегу, а я ждал, что первым удалится он — и я смогу-таки спрятать своего жучка. Наконец Канарейка сунул руки в карманы и молча, не попрощавшись, двинулся прочь. Когда он скрылся за гаражом, я бережно опустил коробок в дырку, соскрёб со стенок землю, чтобы прикрыть его, затем ещё раз посмотрел на солнце сквозь шарик и побежал.

С тех пор именно шарик стал главным моим самым ценным сокровищем — я таскал его с собой всюду, куда только можно, катал по парте в школе и подбрасывал, гуляя по улице. Однажды я подбросил его слишком высоко и только чудом сумел поймать. На какое-то мгновение мне показалось, что он исчез в синеве неба.

В шарике застыли два пузырька — крошечных, серебряно-белых. И я всё время размышлял: вот когда они застыли, в тот самый миг, они стремились друг другу навстречу или бежали друг от друга прочь? Один пузырёк как будто лежал на волне или лепестке, или во сне, а второй висел в пустоте, ничего не касаясь и ни на что не опираясь.

Когда я стал старше и часто просиживал вечерами за книгой, мне стало казаться, что шарик — а он сохранился и теперь лежал в серванте в одной из вазочек, вместе с бусами, значками и монетами, — похож на душу. Не только на мою душу, но вообще на любую. Когда бабушка заговаривала о душе, я представлял, что внутри меня катается вот такой зелёный шарик с двумя пузырьками. И когда кто-то говорил, что у него душа ушла в пятки, я прямо слышал стук чего-то маленького и круглого у самого пола.

В разное время мне то казалось, что шарик — моя душа, то — чья-то чужая душа, которую я почему-то нашёл под трубой. Я всматривался в мутное стекло и пытался понять — чья? И мне всё время думалось, что это, наверное, очень

хороший человек, с красивыми мыслями и чувствами, но, наверное, недостаточно твёрдый, какой-то весь плавающий, податливый. Возможно, этот человек не стеснялся, например, заплакать при всех.

А иногда мне казалось, что это не душа, а мысль. Или чувство. Или стихотворение. Или чья-то тайна.

А потом я — смешно сказать — такое богатство потерял. Потерял дома. И как потерял-то! Решил, что негоже ему обитать в вазочке, и стал искать новое, более достойное место. В итоге я его за неделю спрятал, наверное, в дюжине самых укромных тайников. И какой-то из них меня, вероятно, устроил, потому что я забыл про шарик аж на месяц или около того. А когда вспомнил и полез искать, понял, что запутался и забыл, куда сам его в итоге схоронил. Перерыл весь дом и не нашёл. Вот это была трагедия!

Но в душе я был даже рад, потому что точно знал, что шар рядом, хотя и не вижу его. И ещё я точно знал, что теперь уж точно никогда — вообще никогда — не потеряю шар по-настоящему, как потерял бы тогда, если б не поймал. Упал бы он мимо ладоней и укатился в траву — всё, ищи-свищи. У нас трава — ого-го, не то что шарик, — себя можно потерять.

В общем, формально я остался без своей находки. Но тогда в парке, давным-давно, он ещё был при мне. Мы шли с родителями, я держал отца за руку — и лавки убегали вдаль одна за другой, и сцена эта, а на сцене — оркестр.

Пахло так густо, так дурманяще — что-то цвело, а что — не разбираюсь, не могу сказать. Листва была зелёная, сочная, пышная — мы шли как будто в шатре. Вот тогда до моего уха и донеслась та мелодия.

Происходившее я помню буквально фотографически. Отец только что сказал что-то смешное — он вообще тот ещё шутник. Мать смеётся. Нам навстречу летит здоровенный мыльный пузырь, по его поверхности бегут разноцветные волны.

Я смотрю в сторону и вижу девочку, выпустившую этот пузырь. Она сидит на одной из лавочек, рядом с ней женщина с длинными светлыми волосами. Очередной радужный красавец лопаётся, не сорвавшись с соломинки, и девочка жмурится, у неё веснушки и ямочка на

подбородке. Женщина всплескивает руками. Кто-то за моей спиной кричит звонко и радостно: «Саша! Я здесь!» В это же мгновение за деревьями начинает хлопать салют.

И вот сквозь эти хлопки, как будто огибая их, просачиваясь между ними, подхваченное, доброшенное до меня этим радостным возгласом: «Саша! Я здесь!», отразившееся в разноцветном зеркале пузыря, моих ушей касается какое-то сияющее, ослепительное чудо — последние ноты какой-то дивной музыки, сплетённые в коротенькую, но невероятно красивую мелодию.

Тогда я ничего не понял, только выронил свой шарик — и он покатился куда-то вбок, в сторону сцены. Я выпустил отцовскую руку и догнал беглеца. И мы продолжили прогулку — я тогда ничего не понял, да.

Но с тех пор чудная мелодия заблудилась во мне. Я никогда не мог поймать её, ухватить и всякий раз понимал, что это была именно она, только когда она уже затихала. Вероятно, я путано изъясняюсь, поэтому приведу пример — из недавнего.

Я поднимался в лифте. Зашёл один в пустую кабину, но уже на втором этаже остановился, двери раскрылись, и внутрь шагнул грузный мужчина в деловом костюме. На пятом кабина сделала ещё одну остановку — вошла женщина с девочкой лет шести. Девочка держала в руках тряпичного зайца, прижимая его к себе, так что его уши касались её подбородка. У зайца были голубые глаза-пуговицы и чёрный нос горошиной. Когда двери раскрылись на моём этаже и я уже почти вышел, девочка посмотрела на мать — а это несомненно была её мать, они были очень похожи друг на друга — и спросила:

«Почему мы не выходим?»

Когда двери сомкнулись за моей спиной и лифт снова загудел, уползая вверх, я понял, что вот только что, вот до самого этого мгновения, в моей голове, в моих мыслях, во всем моём существо звучала, кружилась, повторялась та самая мелодия. Как только я это понял, она стихла.

Таких ситуаций на моей памяти было несколько десятков. И всякий раз я опаздывал на какую-то долю секунды. Если же пытался вспомнить её или, быть может, воспроизвести — насвистеть там или ещё что — она укрывалась так глубоко, что я даже примерно себе не мог

представить, из каких нот она состоит. А я немного понимаю в нотах, надо сказать.

Но тогда, в парке, повторюсь снова, я ничего не понял — только как будто на секунду ослеп наоборот. То есть вот представьте себе, что вы ослепли, а теперь представьте, что вы ослепли наоборот — не знаю, как сказать иначе. Я как будто превратился в иголку или щепку, или камешек — и ухнул куда-то — не вниз, а как будто — внутрь. А внутрь чего — я и сам не знаю. Да.

На этом я хотел закончить, но понял, что просто обязан написать о Канарейке — о Руслане.

Руслан стал учителем математики — лучшим в нашем городе. Не так давно он получил какую-то престижную премию, его звали в Москву, но он не поехал. Про него приезжали снимать фильм. Школа, в которой он преподает, — самая желанная, в неё стремится весь город. Выпускники воют в унисон, прощаясь с ним.

Я никогда — никогда! — не мог подумать, что математика вообще может кого-то так удивлять. Хотя тут дело, конечно, не только в ней.

Но я же не учился у него — мне не понять. Я даже на рынок с ним тогда не пошёл, хотя пообещал. Соврал, что заболел, и убежал на речку купаться. А Руслан пошёл и раздал всех котят, а их было, представьте себе, пять! Я видел, как он идёт с пустой корзиной — машет ею, только что не приплясывает. Я тогда как раз возвращался с речки — и, увидев его, спрятался за гаражом.

Я был без футболки — повязал её на манер пояса; и мне страшно жгло плечи. Спрятавшись, одним коленом уперся в песок, а второе маячило перед самым моим носом и прямо сияло — до того оно было загорелое, точно бронзовое. И я посмотрел на это колено, мне стало очень, очень стыдно перед Русланом, — стыдно, что обещал пойти с ним на рынок и не пошёл. От стыда показалось, что на меня выплеснули ведро ледяной воды. Это было очень неприятно.

Его родители, к слову сказать, помирились, отец бросил пить. Никто даже не верил сперва, а он правда взял и бросил. У них всё прекрасно сейчас — такие милые старики. Очень любят говорить о сыне — краснеют, запинаются, глаза опускают, но тему не меняют, что вы!.. Они живут в очень уютной — я бывал у них не раз — двушке. Три окна выходят на парк, два — во двор. У каждого окна висит по кормушке — и там постоянно кто-то щебечет.

У них всё прекрасно, у них всё просто замечательно.

□

Дмитрий Александрович ЛАГУТИН

*родился в 1990 году. Окончил юридический факультет
Брянского государственного университета.*

Пишет прозу.

*Рассказы опубликованы в журналах
«Нижний Новгород», «Волга», «Нева», «Истоки»,
«Литкультпривет», «Дальний Восток», «Иван-да-Марья» и др.*

*Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин»
в номинации «Проза» (2017, 2018).*

*Лауреат национальной премии «Русские рифмы»,
«Русское слово» в номинации «Лучший сборник рассказов» (2018).*

*Один из победителей международного конкурса
«Мост дружбы» (2018).*

*Победитель конкурса-фестиваля «Хрустальный родник»
в номинации «Проза» (2019).*

Участник форума молодых писателей в Калужской области (2019).

В журнале «Север» публикуется впервые.

